

## ВЕЩИ И ОСКОЛКИ

(Лионозовцы: о двух из пяти – и немного об остальных)

### <Ян Сатуновский>

Ян (Яков Абрамович) Сатуновский, житель Электростали и гость Лионозово, родился в 1913 году. Он был ровесником Сергея Михалкова и Ярослава Смелякова...

И по происхождению, и по году рождения он был человеком новой выделки – но из тех, кто еще мог наблюдать остатки прежнего мира и «сравнивать», и даже испытывать некие исходящие от этого мира соблазны (другое дело, что сам он их, похоже, не испытывал). Те, кто был на пять лет моложе, изначально не знали вообще никакой альтернативы. Видимо, необходимо еще и еще раз пояснить: речь идет не о политической или идеологической преданности режиму, а о тотальной зависимости от языка и понятийной системы этого общества. О принадлежности этому языку. Все это пока что совершенно внеоценочно.

Из современных ему «официальных» поэтов Сатуновский принимал и любил Бориса Слуцкого. Советская культура была по природе своей имитационной, а Слуцкий пробовал отказаться от имитаций. Вместо игры «в Некрасова», «в Гумилева», на худой конец, немудреной риторики а la поздний Маяковский, он стал просто изъясняться бытовым и газетным советским языком, приблизительно ритмизуя его и не слишком щеголевато рифмуя. Оказалось, что *в этом* – поэзии больше. (Почему он все-таки рифмовал – отдельный вопрос. Может быть, дело в том, что верлибр в 1950-е годы воспринимался не как минимум формы, а именно как «форма», причем щеголеватая, заграничная. А Слуцкий хотел – минимума, аскезы).

Но со всем этим Слуцкий не стал бы значительной фигурой, не замахнись он на самое болезненное: на экзистенциальные основы советского опыта, которые предполагалось принимать по умолчанию. Он же попытался их осмыслить, принять всерьез – не негативно, а позитивно осмыслить. Что в каком-то смысле еще опаснее. «Здесь сосны от имени камня стоят, здесь сокол от имени неба летает» – это строки из первого (после войны) опубликованного стихотворения Слуцкого. Переноса на природный мир советские бюрократические речевые структуры, Слуцкий их не пародирует, а вскрывает их сущностный, бытийный смысл. Но как только этот смысл вскрывается, он начинает разрушать железобетонный идейно-языковой блок. В нем образуется какой-то, я бы сказал, «платоновский» вирус. Образуется трещина, в которую постепенно сливаются все идеи, слова и вещи. Остается, опять-таки, структура речи. Но это же не трепетная и электрическая структура речи наследников Серебря-

ного Века. *Эта* структура сама по себе жить не может, а наполнять ее, как многие, «несоветскими» смыслами (религиозными, либеральными и проч.) Слуцкий не захотел. Он просто сошел с ума, замолчал, а после умер.

Сатуновский не касался этих экзистенциальных основ: он вольнодумствовал в их рамках. Получалось так:

В некотором царстве,  
в некотором государстве,  
в белокаменной Москве краснопролетарской  
тридцать лет и три года  
жили-проживали  
старичок со старушкой в полуподвале.  
А на тридцать четвертый год случилось чудо:  
в переулке,  
где ютилась их лачуга,  
точно вынутые из улья восковые соты,  
от лесов освободился дом высотный.  
И теперь старичок со старушкой,  
проживающие в полуподвале,  
за окошком видят Герб Союзный,  
за который мы воевали.

Чем (кроме технического уровня) это отличается от какого-нибудь стихотворения из «Крокодила», бичующего «отдельные недостатки»? Нет, конечно, посмелее, поострее, но по сути – то же. Но когда Сатуновский выходит за рамки «отдельных недостатков», получается еще хуже – весьма простодушная, чтобы не сказать хуже, диссидентщина.

«Свободу» надо раскавычить.  
Россию можно закавычить.

Все в надлежащем комплекте: имена Мандельштама, Бабея, Хармса, Введенского, которые поминаются в первую очередь как жертвы режима (потом можно вспомнить и какую-нибудь строчку, а можно и не вспомнить); серьезный интерес к каким-то конфликтам на уровне Союза Писателей (при том, что сам автор, как он не забывает сообщить, «не член ничего, и даже Литфонда»); эмоциональные обиды на антисемитизм (на трусливый и холопский позднесоветский антисемитизм, на самом деле не заслуживавший ничего, кроме ледяного презрения – как и все прочие проявления тогдашнего официоза). Вот, кстати, пример еврейской темы:

Я Мойша з Бердычева.  
Я Мойзбер.  
А, может быть, Райзман.  
Гинцбург, может быть.

Я плюнул в лицо  
                                оккупантским гадинам.  
Меня закопали в глину заживо.  
Я Вайнберг.  
Я Вайнберг из Пятихатки.  
Я Вайнберг.  
                                За что меня расстреляли?  
Я жид пархатый дерьмом напхатый.  
Мне памятник стоит в Роттердаме.

Чтобы чтить память убитого еврея, надо, чтобы он погиб не просто как еврей, а как сопротивляющийся врагу советский человек – «плюнул в лицо оккупантским гадинам» (не Амалеку, не нацистам, а именно *оккупантам*). Ср. стихотворение Слуцкого «Как убивали мою бабушку». Но этого мало. Трагедия и слава «жида пархатого» нуждается в подтверждении... памятником в Роттердаме. Признанием в «цивилизованном мире».

Но есть в этом стихотворении некая странность, выламывающаяся из немудреной и предсказуемой («галичевской», скажем так) картины мира. Это «Мойзбер» – фамилия. Рождающаяся из фонетического сдвига, из ослышки. Таких ослышек, странных словечек, морфологических монстров у Сатуновского много. Они появляются там, где речь разрезана на куски «по-живому».

Сатуновский отказался от идеи «законченного стихотворения», на что Слуцкий не отважился. Тем самым он отказался от идеи автора – общественной фигуры, без которой советская культура немыслима. Другое дело, что стать полноценным «частным лицом» (*идиотом* в античном смысле) советскому писателю все равно не дано. Субъект стихов Сатуновского – неслучившаяся, неполучившаяся общественная фигура. Отсюда навязчивые обиды. Но отсюда же разломанный в щепы текст (а именно этому размолу обязан Сатуновский своей, в конечном счете, удачей). Если уж не удалось стать Маяковским или Слуцким, можно отважиться стать «ником» (каким-то «Иван Израйлевичем, на минуточку пьяным»), ведь терять нечего. Да и дыханием длинным бог Яна Абрамовича обделил, а наградил тончайшим чувством интонации. И он отважился не насиловать себя ради призрака личностной целостности.

Речь, зрение, слух не *деконструируются*: кирпичную стену можно разобрать только на кирпичики. Но тут и кирпичики беспорядочно расколоты, и это дает им – не им, а их осколкам! – некий шанс. Оказывается, что этот мир – внутренний мир советского (антисоветского) человека не монолитен. Кроме идеологом (прямых или обратных), кроме часто трогательных, но всегда банальных «личных чувств», кроме девушкинских обид и эстрадного юморка (типа: «Видимо, мне уже не получить на половой вопрос половой ответ») – там есть моменты пронизывающего кости *осознания*:

Мне говорят:  
какая бедность словаря!  
Да, бедность, бедность;

низость, гнилость бараков;  
серость,  
сырость смертная;  
и вечный страх: а ну, как...  
да, бедность, так.

Автор «настоящего» стихотворения все это вписал бы в систему мыслей и оценок, а они наверняка оказались бы скучными и плоскими. А у Сатуновского – просто бедность, низость, гнилось, сырость, образующие новый бедный словарь. А иногда – ощущения невероятной тонкости, такой, что передает их только расслабленное хмыканье и бормотанье:

Родятся звуки в темноте,  
снуют и выются, как во сне.  
Но полусон сильнее, чем сон,  
синее сосен чернота,  
и можно жить, или не жить  
(не важно, что сказать, и как).

Человек (*этот человек*) жив и свободен, только когда он бессвязно бормочет, пыхтит, крикает, хмыкает. Сам не зная что сказать. Ища пенсне или ключи. Какое там пенсне! Советские очки в пластмассовой оправе. Вот источник его тайн, вот его экзистенция:

Елки-палки,  
считалки-заменки,  
кто последний  
за манкой-перловкой?  
– За манкой-перловкой  
отсель недалече,  
ты первый, я первый  
до белого корня...

Но это и есть – пусть слабые, но божественные искры, извлеченные из самой непроницаемой клипы. Эти искры (и память о способе их извлечения) не пропали в культуре. Достаточно вспомнить Игоря Булатовского, который ныне называет Сатуновского одним из своих учителей.

<...>